

**В**недавней презентации Юрий Проскуряков представил историю поэтического всплеска 1976–1981 годов, участником которого ему довелось быть. Забегая вперёд, отмечу: каждый поэт рождается всплеском, а некоторые поэты сами порождают всплеск. Пушкин был порождён всплеском — рядом с ним сверкали другие поэты: старшего поколения, современники и друзья. Влияние Пушкина было глубоким и долговременным, но непосредственных последователей, не считая слабых подражателей, у его поэзии

не было. То же можно сказать о поэтическом явлении, представленном Проскуряковым: непосредственного продолжения у названного явления не было, что же касается долговременного влияния, оно, на мой взгляд, возможно.

Чтобы продолжить эту заметку, я должен сначала обозначить явление, представленное Проскуряковым в его выступлении. Саркастическое обозначение, предложенное Проскуряковым — «трагические социалисты» — явно неудовлетворительно, а предлагавшийся другими

**Аркадий Борисович Ровнер** (1940 г.р., Одесса — 2019, Москва) учился на философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, в докторантуре Колумбийского университета в Нью-Йорке. В 1973 году эмигрировал в США, с 1975 по 1994 год жил в Нью-Йорке. Преподавал курсы по патристике, восточным религиям и современному мистицизму в университетах Вашингтона, Нью-Йорка и Москвы. Создатель «веселой науки» фулологии: его курс «Дураки мира» в Нью-Йорке неизменно собирал многочисленную аудиторию. Вернулся в Москву (1994). Автор 25 книг прозы, поэзии, философских эссе, энциклопедий, романов («Калаласы», «Ход королем» и «Небесные селения»), 6 книг рассказов, в т.ч. «Город живых отцов» (2020 года), 3 книги стихов («Этажи Гадеса», 1992, 2015, «Рим и лев», 2002, и «Нерайские сады», 2017). Соавтор энциклопедий: «Мистики XX века» (М.: Локид-Миф, 1997, 2-е изд. 1998), «Энциклопедия символов, знаков и эмблем» (М.: Локид-Миф, 1997, 2-е изд. 1998), «Что такое просветление?» (М.: Изд-во Трансперсональной Ассоциации, 1997), редактор серии раннехристианской литературы «Учители неразделенной церкви», редактор-составитель серии звучащей поэзии на компактных дисках «Антология современной русской поэзии — Новая поэзия в контексте новой музыки» (проект А. Бабушкина). В 1970–1990-х годах создал в Нью-Йорке издательство *Gnosis Press*, издавал религиозно-философский и литературный журнал «Гнозис», двуязычную англо-русскую «Антологию Гнозиса современной русской и американской литературы и искусства» в 2 томах, представляющую русскую и американскую литературу и искусство 1970–1980-х гг, поэзию и прозу современных русских и американских авторов. В Москве создал «Институт культуры состояний», содружество людей, изучающих духовные практики и применяющих их к своей жизни.

термин «метареалисты» — слишком расплывчат. Я бы всё же, при всех известных минусах, остановился на «метаметафористах», так как в этом названии подчёркнуты и роль, и характер метафоры в поэтической практике поэтов упомянутого направления. Метафора действительно играла у них важнейшую роль и, более того, в ряде случаев это была метафора, отсылавшая в область особого трансцендентального взгляда на реальность или «мета»-созерцания. Лучшего обозначения пока что не найдено, и потому я принимаю его за рабочее название и двигаюсь дальше.

Противопоставление цветов и навоза в заголовке моей заметки очевидно нуждается в оговорке. Для того, чтобы слегка смягчить неизбежную резкость, определим «навоз» как культурную инерцию любого исторического периода и спросим: для чего нужен навоз? Он кормит цветы, но он душит их в объятиях. «Когда б вы знали, из какого сора...» — писала Ахматова о цветах поэзии, имея в виду, конечно, и функцию их питания. Такой средой обитания и одновременно отталкивания, таким навозом была для поэтов метаметафористов советская литература, в которой некоторые из них стремились самоутвердиться. Известно: невозможно самоутвердиться в навозе, не став навозом, чему человеческая история и, в частности, история литературы дала нам сотни иллюстраций. Однако поэту трудно отбросить надежду на чудо, на то, что фонтан останется чистым, на то, что навоз

отступит и т.д. Но и на этот раз он не отступил и поглотил порождённые им и против него «цветы метамета», как он это делал от века. На то он и навоз.

Разделавшись наскоро с двумя предварительными задачами — определиться с названием представленного Проскуряковым явления и оправдаться в связи с употреблением слова «навоз», — я, собственно, сказал почти всё, что хотел, об этом прекрасном в лучших проявлениях поэтическом всплеске. Я лично не узнал его как самостоятельное явление, когда в 1980 году друг Парщикова, Александр Чубарь, принёс мне в Нью-Йорке мешок рукописей и, ничего не сказав, кроме: «Это новые стихи из Москвы», навсегда исчез из моей жизни. Я узнал и признал этот цветок, когда в начале 1990-х встретил в Москве Алексея Парщикова после его возвращения из Стэнфорда и перед новой эмиграцией в Кёльн — это стало для меня радостным открытием, о чём свидетельствует включение стихотворений Парщикова в редактируемую мною аудиоантологию «Современной русской поэзии». Я не знал тогда: пик парщиковской поэзии был уже в прошлом, и существование группы «метамета» закончилось давным-давно.

Теперь я бы хотел сказать несколько слов о другом всплеске, имевшем место на тех же широтах, но хронологически несколько ранее: он завершился в середине 1970-х годов, что совпало со смертью или эмиграцией его основных представителей. Для меня лично он закон-

чился 30 декабря 1973 года. К этому времени Красовицкий отрёкся от написанных ранее стихов и запретил их воспроизводить, Аронзон умер тремя годами ранее, Чертков, Бокштейн и Леонид Йоффе были уже в эмиграции, а с Анри Волохонским мы улетали в эту ночь в Вену одним самолётом.

Мы не были «метамета», хотя метафорой пользовались в полную силу, как, впрочем, и многие до нас. Чего, например, стоят метафорические стихи Красовицкого:

Пышна, голубоглаза —  
пред ним стоит задумчивая ваза.  
Он говорит, её лаская груди:  
«Ведь мы с тобой уже давно  
не люди»...

И Бокштейна:

Восковое личико в окне.  
За окном — кирпичная ладошка.  
Штык трубы с лицом помятой кошки  
штейнеровской молится луне.  
Шевелится потихоньку крыша,  
словно плащ монаха, что под ней.  
И страна, притихшая, как хвост  
межстенной мыши,  
за диваном ждёт чуланых новостей.

С родным навозом мы не флиртовали, отбрасывая его с порога, страдая от его удушающего смрада и уходя от этого смрада в раннюю смерть (Роальд Мандельштам, Леонид Аронзон) или в эмиграцию — как внешнюю (Леонид Чертков, Леонид Йоффе, Илья Бокштейн, Виктория Андреева), так и внутреннюю

(все остальные). Не было никакого заигрывания с репрессивной машиной официальной культуры, не было стремления пробиться в навозные ранги, никаких расчётов и надежд на сосуществование, зато всегда — конфронтация, нередко заканчивающаяся лагерями и дурдомами (Леонид Чертков, Илья Бокштейн, Валерий Дунаевский, Борис Козлов...).

Не были мы и группой, а было множество групп, так как возникали в разных местах и в разное время чуть ли не с конца 1950-х. Мы были самостоятельным миром, находили друг друга, встречались и выпивали, но больше читали друг друга в самиздатовских копиях. У нашей общности также не было названия, у нас не было публичной жизни, хотя бы урезанной, как у поэтов метаметафористов.

Общей платформой «третьей» литературы была религиозно-мистическая доминанта, возможно, сначала расплывчатая, размытая, принимавшая со временем всё более чёткие формы, и то, что к концу 1960-х Лёня Йоффе укоренился в иудаизме, а Станислав Красовицкий с начала 1970-х яростно уничтожал свои стихи, написанные до его обращения в христианство; то, что Головин ушёл в нео-дионисийство, а Бокштейн до конца жизни создавал поэтическую «библию» в форме супрематического романа — всё это были проявления обозначенной мной доминанты. У нас впереди, безусловно, находилась лошадь, а телега поэзии была сзади, однако амбиции юности было нелегко укротить:

А я хочу шагать  
Такой теневой полосой  
Чтоб в сумерках богом стать  
С длинной, как дым, рукой, —

писал Станислав Красовицкий в конце 1960-х. Через почти двадцать лет ему ещё более заносчиво «ответил» метаметафорист Илья Кутик:

И нет циферблата над нами.  
Мы сами себе небеса.

У каждого из этих явлений была, несомненно, своя эстетика и свой диапазон формального новаторства, и всё-таки как поэтов «третьей» литературы, так и поэтов «метамета» роднил — хоть и проявленный с разной силой — тот же внутренний вектор, который отличает поэзию от версификаторства, каким бы талантливым оно не было. Можно было бы ещё долго говорить об особенностях двух поэтических всплесков, но зачем повторять сказанное — кому нужно, тот найдёт достаточно материала, чтобы составить собственное представление о предмете.

Остаётся сказать несколько слов о не простой встрече двух поэтических всплесков. Она не произошла в 1980 году, когда Александр Чубарь привёз мне в Нью-Йорк рукописи московских и киевских друзей; но уже через десять лет, встретив в Москве Алексея Парщикова, я услышал его стихи, и они сразу вошли в мою жизнь, мой поэтический опыт. Однако не было встречного узнавания нас как предшественников или современников — ни у Парщикова,

ни у Левчина, ни до сих пор у Юрия Проскурякова. «Вы не были группой», — говорит Проскуряков, очевидно, считая это доводом в защиту своей позиции. Да, мы не были группой, хотя вокруг каждого поэта была своя группа, и мы знали о существовании друг друга, как это знают частицы одного поля — интуитивно, но безошибочно отличая своих от несвоих. Так, прочитав ещё до эмиграции стихи Эдуарда Лимонова, а в эмиграции — изобильно печатаемые в Штатах стихи Армалинского, мы не признали их ни своими, ни вообще поэтами.

Уже в эмиграции, в Нью-Йорке сначала у меня и Виктории Андреевой, а затем — у разбросанных участников общего пространства возникло и укрепилось осознание общности, общего поля «третьей» литературы, в контрасте с «первой» — идеологизированной официальной советской литературой, и «второй» — идеологизированной антисоветской литературой, поддерживаемой западными спецслужбами. Нам удалось создать в Нью-Йорке журнал, антологию и издательство, и мы использовали все эти инструменты для утверждения и отстаивания «третьей» литературы.

Люди, плохо представляющие себе западные реалии, не отличают личную ситуацию издателей щедро финансируемых идеологических изданий от тех, кто издаёт журналы и книги на собственные скудные средства, не будучи включёнными в системы субсидирования, рекламы и книготорговли. Им может казаться —

Рафаэлю Левчину и казалось — мы с Викторией занимались «безудержными самовосхвалениями», в то время как мы были одинокими головами, заглушаемыми монотонным гулом радиостанций, издательств и университетов — многоголовой и многоголосой гидрой штатных пропагандистов «первой» и «второй» литератур, и просто пытались говорить, обращаясь к тем, кто нас мог услышать в этом гуле.

Наверное, отстаивая свой воздух и своё пространство в пространстве, оккупированном противоборствующими идеологиями, мы иногда горячились и срывались. Надеюсь: за сорок лет, мелькнувшие с той поры, Аполлон простил нам этот грех, но обвальная история, в которой мы все сидим как в навозе, не признаёт ни

вины, ни заслуг — она продолжает служить новым и новым поколениям фараонов и их приспешников, выстраивающих под себя культуру и поэзию. Сегодня для неё нет ни поэтов метаметафористов, о которых рассказывает Проскуряков, ни «третьей» литературы, которую отстаивали мы с Викторией Андреевой. На то и существует «культурная» политика, чтобы исказить историю, выпячивать то, что кому-то надо, и замалчивать иное. Но когда, наконец, закончится камнепад, а он непременно закончится, когда снова появятся зрячие поэты, а они неизбежно появятся, оценки и предпочтения публично восстановят «гамбургскую» гармонию, как была она частично восстановлена после падения советских монументов.

*15.02.2015, Москва*